



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

М. Н. Куреев

Белгородский государственный институт искусств и культуры

В. В. Варава

*Департамент социологии, истории и философии
Финансового университета при Правительстве РФ*

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ АНАРХИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО

В статье авторы продолжают исследование и обоснование места в истории философии Л. Н. Толстого, творца-загадки, творчество которого и сегодня вызывает интерес, полемику ученых и стремление к его познанию, в том числе и нравственного дискурса смерти как определяющего дискурса русской философии. Отмечается, что мыслители ранга Толстого имеют своей мишенью более глубокие экзистенциальные основания жизни, в которых социальное реформаторство беспомощно. Здесь можно действовать только силой нравственного действия, которое действительно разрушает, но разрушает сложившийся безнравственный миропорядок. И анархизм в этой сфере – это не разрушение ради разрушения, но воссоздание бытия на новых, нравственно очищенных основаниях.

Ключевые слова: реформаторство, экзистенциализм, анархизм, смерть, нравственность.

M. N. Kireev

Belgorod State University of Arts and Culture (Belgorod, Russia)

V. V. Varava

*Department of Sociology, History and Philosophy of Financial University
(Moscow, Russia)*

EXISTENTIAL ORIGINS OF THE LEO TOLSTOY'S ANARCHIST VIEWS

The authors continue to research and study places in the history of Leo Tolstoy's philosophy, who is an enigma-creator, whose creative work today is of interest, scholars' controversy and commitment to its cognition, including moral discourse of death as the defining discourse of the Russian philosophy. It is noted that thinkers of Tolstoy rank have targeted deeper existential bases of life in which social reformation is helpless. You can only operate by the power of moral action really destroying but it destroys the established immoral world order. Anarchism in this sphere is not destruction for the sake of destruction, but the recreation of being on new, morally purified grounds.

Keywords: reformism, existentialism, anarchism, death, morality.

DOI 10.22405/2304-4772-2018-2-3-5-20

Грандиозная во всех смыслах фигура Льва Николаевича Толстого вызывает сегодня не меньший интерес, чем это было при жизни писателя.

Расхожее мнение о том, что Толстой хороший писатель, но плохой мыслитель, которое повторялось не одним представителем русской религиозной философии и не только, не выдерживает никакой критики. Значимость Толстого для русской культуры и философии с годами только возрастает.

В. Н. Ильин в своей книге «Мирозерцание графа Льва Николаевича Толстого и его место в истории философии XIX века; в связи с судьбами пессимизма» дал очень точную и емкую характеристику русской словесной культуре и месту в ней Толстому и Достоевскому. «Лев Николаевич Толстой, – пишет Ильин, – явление такого исключительно крупного калибра, что его одного достаточно, чтобы прославить породивший его народ и дать имя целой эпохе. Когда же такой великан является в диалектическом сопоставлении с другим грандиозным гением, каким является Достоевский, то тогда можно говорить о целом литературно-философском космосе, о явлении «планетарного» масштаба» [8, с. 63-64].

Здесь очень показательным является стремление определить место Толстого в истории именно философии, а не только литературы. Это место оказывается весьма значительным. В. В. Зеньковский также назвал Толстого «страстным искателем правды и смысла жизни», что в данном случае выглядит не как характеристика личных свойств автора, а как типологическая особенность целой философской традиции. Это очень точные слова, которые при всех бесчисленных высказываниях о Толстом, всегда будут в центре его главных характеристик.

Толстой создает наиболее органичную русской культуре метафизику, в которой национальные черты и особенности приобретают вселенское измерение.

В. В. Розанов в статье «Л. Н. Толстой и Русская Церковь» писал по поводу «отлучения» Толстого, что «духовенство совершенно не знало, а в случаях знания – совершенно не понимало, тот огромный, волнующийся и тонкий духовный мир, в который Толстой проник с небывалой проницательностью» [12, с. 358]. Вот этот «огромный, волнующийся и тонкий духовный мир», в который Толстой не только проник как художник, описав его с небывалой эстетической насыщенностью и полнотой, но и стремился осмыслить как философов, и есть та область, в которой он пересекается с Достоевским, являя миру невиданную мощь и красоту русской мысли.

Наверное, не случайно, что Айрис Мердок, одна из наиболее серьезных писательниц философского склада XX века, про своих «неизменных любимцев» – Шекспира и Толстого говорила, что когда мы читаем их, то «мы узнаем нечто о сути человеческой природы... с ясностью, какой никогда не достигнешь в себялюбивой суеде повседневности» [17, с. 590].

Итак, Шекспир, Достоевский, Толстой... Можно смело сказать, что именно философские взгляды писателя оказались более живыми и влекущими к себе, чем построения многих представителей религиозно-философского ренессанса, которые, увы, сейчас известны лишь историкам этого периода. Критики Толстого практически не известны никому, в то время как живая и

смелая мысль Толстого и сегодня возбуждает, вызывает к размышлению и полемике, не оставляет никого равнодушными. А значит она актуальна в самом прямом значении этого слова.

«Когда пишешь о Толстом, надо забыть последние следы претензий. Несколько случайных, отрывочных замечаний, – больше ничего» [2, с. 468] – говорит Марк Алданов в статье о Толстом уже после того, как написал о нем известную книгу «Загадка Толстого», признавшись, что ему так и не удалось привести Толстого в «систему». Однако, в «Загадке Толстого» много важных наблюдений, дающих ключ к пониманию великого писателя. В том числе Алданов говорит, что Толстой это «универсально-анархический ум», который «так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти» [1, с. 33].

В этих словах выделяется эпитет «анархический», который, как бы не совсем логично, согласуется с такой эпической фигурой как Толстой. Анархический, так или иначе, но это хаос, нестабильность, что-то ребячливо-несерьезное, насмешливо-безбожное. А Толстой фундаментален, бытиен, религиозен. И все же «анархический» согласуется с ним каким-то своим особым образом. Вот и В. В. Зеньковский в «Истории русской философии» характеризует его взгляды в терминах «мистического» и «педагогического анархизма» [7, с. 383].

Так или иначе, но «толстовство» и «анархизм» иногда рядопологаются в совсем неожиданных контекстах. Так, Мартин Грин в книге, посвященной поколению Ницше, описывает ситуацию, сложившуюся в швейцарской деревне Аскона, где собиралась публика, состоящая из феминисток, пацифистов, анархистов, танцоров, писателей, стремящихся экспериментировать с жизнью. Посещали это место такие знаменитости как Кафка, Юнг, Гессе. «Аскона отчасти отражала и толстовство, и анархизм, и люди там ориентировались на естественные науки и порой на оккультизм» [17, с. 65-66]. Очевидно, что в случае с Толстым имеет место не классический анархизм, и поэтому все возвышенные трактовки Толстого не противоречат его «анархизму», который в его лице приобретает характер положительного устройства жизни.

Выявление истоков анархических воззрений Толстого приводит к мысли о том, что *вопрос о смысле* связан для него на глубинном уровне с *вопросом о смерти*. Анархизм как протест против существующего порядка вещей может иметь несколько измерений. Как правило – это политический анархизм, направленный на ниспровержение социального порядка, который в своей основе сущностно несправедлив. Но кроме этого, анархизм может быть метафизическим, направленным не на социальный план, а на бытийный. Такой анархизм представляет собой «метафизический бунт», который был присущ в той или иной мере большинству выдающихся представителей человечества.

В основе такого метафизического анархизма лежит идея фундаментального нонконформизма, который распространяется не только на социальные отношения, но и на более глубокие пласты реальности, в которых, как говорили русские философы, обнаруживает себя «больное бытие». Этот

бытийный изъян связан со всеобщей смертностью, которая в естественных науках воспринимается как закон. В этом плане анархизм, направленный против социального, то есть смертного порядка, и есть метафизическое беззаконие, поскольку не приемлет верховенства смерти как закона. И здесь радикальное отличие такого анархизма от политического, для которого социальный хаос и беспорядок самоцель. Метафизический анархизм имеет цель установление порядка более высокого уровня, который будет основываться не на правовых нормах, а на нравственных законах, прежде всего на любви. Именно в таком контексте и нужно воспринимать воззрения Толстого, которые часто попадают в анархический контекст.

Рассматривая отношение Толстого к смерти, необходимо отметить, что для него важным является не столько метафизика смерти, традиционная для западноевропейской рационалистической традиции, сколько этика смерти, имеющая в контексте отечественной философии свой особенный способ осмысления. Не будет преувеличением сказать, что *нравственный дискурс смерти* есть определяющий дискурс русской философии. И Толстой здесь ключевая фигура, поскольку его философия смерти настолько масштабна и глубока, что включает в себя все наиболее существенные разработки отечественной философии в этом направлении. Не случайно И. А. Бунин, этот, по слову В. Ильина «законный наследник Толстого», посвятил свою книгу «Освобождение Толстого» главной теме в творческих и жизненных исканиях своего кумира – переживанию смерти. Бунин пишет, что к Толстому еще с колыбели слетел *ангел смерти*, наделив его «двойным зрением». И. А. Бунин пишет, что «все, что видел Толстой впоследствии», весь свой долгий век, переоценивалось им прежде всего под знаком смерти, величайшей переоценщицы всех ценностей» [4, с. 115]. Многие отечественные авторы, по-разному относящиеся к различным аспектам творчества Толстого, были единым в понимании того уровня рефлексии над смертью, которая отличает мысль и чувство писателя. Очень точно понял *танатосный радикализм* Толстого С. А. Левицкий, сказавший в своих «Очерках» о том, что «мысль о смерти никогда не покидала Толстого [10, с. 166].

С. А. Левицкий показал, насколько важной для Толстого была рефлексия над смертью, как она формировала его философию жизни. Напряженные раздумья Толстого над смертью привели к тому, что в «его творчестве даны лучшие в мировой литературе описания умирания» [10, с. 166]. И это не преувеличение, «лучшие в мировой литературе описания умирания» принадлежат русскому писателю и философу. Коренное отличие подхода Толстого к смерти от многих имеющих описаний в том, что его не занимала эстетика смерти как самосушее явление, но более всего нравственные аспекты. Пафос правдоискательства, стремление к высшему и абсолютному проявилось в мучительнейших размышлениях Толстого о смысле (бессмыслице) жизни и смысле (бессмыслице) смерти.

Современный исследователь А. И. Бродский говорит в одной тональности с С. А. Левицким о том, что «до Толстого никто в России так много

не писал об умирании и смерти, и никто так не нагнетал ужас перед небытием, как яснополянский мыслитель» [3, с. 109]. Важным является внимание такого утонченного эстета и мыслителя как Константин Леонтьев к теме смерти у Толстого, к художественным приемам описания состояний умирания. Об этом он писал в своей программной статье (или как он сам ее назвал «эстетический этюд») «Анализ, стиль и веяние», посвященной творчеству Толстого. В. А. Котельников отмечает важные детали: «Особенный интерес Леонтьева к мотиву смерти у реалиста Толстого объясняется не в последнюю очередь особым отношением Леонтьева к событию смерти вообще, что обуславливается и значением этого события в его жизнечувствовании, и медицинским опытом» [9, с. 562-563].

Очень точные и проникновенные слова об огромном нравственном влиянии Толстого на Европу в вопросах смерти и смысла жизни сказал В. П. Свенцицкий в статье «Положительное значение Льва Толстого». Вот что он писал: «Толстой неожиданно встал перед Европой во весь свой гигантский рост и властно спросил «одуревших» от успеха внешней культуры людей о том, что, казалось, они должны были знать, прежде всего: зачем они живут?..» [13, 22].

Размышляя над «Записками сумасшедшего» Толстого, Л. Шестов в книге «На весах Иова», написал об его особом *даре* относительно смерти. Философ говорит, что Аристотель заложил основы научной, положительной философии, основанной на самоочевидных истинах и здравом смысле. Против этих истин не может идти даже сам Бог, и поэтому он не требует невозможного. Такова аристотелевская логика философии и основанной на ней жизни. Однако, утверждает Шестов, у смерти своя логика и свои истины, которые не считаются с нашими обычными представлениями и самоочевидными истинами. Но, делает важное заключение Шестов: «Только исключительные люди, в редкие минуты напряженнейшего душевного подъема, научаются слышать и понимать загадочный язык смерти. Это дано было и Л. Н. Толстому. Что ему открыла смерть? какие невозможности стали для него возможными. Ведь смерть, вопреки здравому смыслу, требует от человека невозможного и, вопреки Аристотелю, вырывает его из общего всем мира?» [18, с. 110].

Эти слова никоим образом нельзя понимать в каком-либо мистическом смысле, что Толстой был неким «духовидцем» и «прозорливцем», как часто говорят о старцах. Здесь речь о другом, об отвержении естественного порядка вещей, основанном на аристотелевской логике, в основании которого *конвенция принятия этого мира как должного*. Только глубинное экзистенциальное (как у Толстого) переживание смерти дает понимание иного порядка, иной логики, иного смысла, которые идут наперекор аристотелевскому «общему миру», и о чем хочет нам сказать Шестов.

Именно здесь главный *исток анархизма* Толстого, который выступил не против того или иного социального института, а против этой всеобщей конвенции. Это отвержение не теоретического плана, ибо как раз «теоретически» здесь невозможно ничего сделать, но этического. Отсюда моральный пафос, панморализм, которым все окрашено у Толстого. Этот пафос

не есть морализаторство, в чем его часто упрекают, но своего рода духовное негодование, поскольку теория бессильна перед этой стеной детерминизма, создавшего общий мир, в котором сосуществуют смерть, зло и неправда.

Вот почему именно Толстой во многом и задал ту интонацию русской философии, которая отличается особым нравственным вниманием, и более точно, глубочайшей нравственной уязвленностью смертью. В. В. Зеньковский так говорит об этом: «Толстой с такой силой и мучительностью переживал трагедию неизбежности смерти, так глубоко страдал от бессмыслицы жизни, обрывающейся безвозвратно, что едва не кончил самоубийством» [7, с. 197].

Это дает основания трактовать размышления Толстого в экзистенциальном ключе как определяющем для него способе мировидения, предвосхитившем появление «классического» экзистенциализма. Как отмечает А. А. Горелов: «Для экзистенциалистов большое значение имел опыт переживания смерти, и он же стал для Толстого основополагающим и сыгравшим огромную роль в его «духовном рождении»» [5, с. 142]. Однако, здесь нужно четко различать экзистенциальный стиль мышления, присущий многим титанам духа, творивших до появления экзистенциализма как определенного течения, и собственно, самим экзистенциализмом как конкретным направлением в западной философии XX века. В этом контексте очень убедительно звучат слова Ю. Н. Давыдов, автора известной книги «Этика любви и метафизика своеволия», в которой он сказал следующее: «...русская классическая литература, которая в произведениях таких наших писателей, как Лев Толстой и Федор Достоевский, предстала одновременно и как классика нравственной философии, до сих пор не превзойденная ни «новой», ни «новейшей» философской модой, – будь это экзистенциалистская, структуралистская или неомарксистская мода» [6, с. 12].

Какая-то трагическая и загадочная ненормальность, связанная со смертью, преследовала Толстого с самого раннего возраста. Тяжело пережив смерть отца в девятилетнем возрасте, которая, по его словам, «впервые поселила чувство ужаса перед смертью», Толстой всегда с особым пристально-болезненным вниманием вглядывался в смерть.

Уже в повести «Детство» представлена обширная танатологическая картина воззрений Толстого, которая, согласно С. А. Левицкому, представляет собой одно из лучших «в мировой литературе описание умирания». Это ранний важнейший текст Толстого и на нем следует остановиться подробнее, поскольку здесь не только истоки анархических, но и вообще всех наиболее значимых идей и мыслей великого писателя.

В этой повести описывается смерть матери, явившаяся серьезным потрясением и испытанием для героя, для его юной души. Здесь передается не воспоминание об этом событии, поскольку мать Толстого умерла, когда ему было два года, но воссоздается картина впечатлений о такой смерти, которую уже взрослый писатель смог создать, обогащенный жизненным опытом и размышлениями над смертью. И это уже зрелое понимание он вкладывает в сознание ребенка, описывая умирание как бы через детское мировосприятие.

Смерть представлена глазами ребенка, который увидел в ней всю полноту горечи и трагизма, которую взрослый человек порой уже не видит и не чувствует. И хотя сам Толстой не мог помнить смерть своей матери, но важно то, что в его детском сознании формируется особое отношение к этому событию, сделавшего его величайшим художником и мыслителем.

Важно проследить становление танатосного мироощущения, которое в Толстом достигает предельно-болезненной остроты. В последних главах – «Письмо», «Что ожидало нас в деревне», «Горе», «Последние грустные воспоминания» видна своеобразная *танатологическая эволюция сознания*, начинающаяся со страшного предчувствия, затем прошедшая через столкновение с ужасом смерти и заканчивающаяся пронзительным чувством скорби от невозполнимой потери близкого человека.

Предчувствие беды выступает важнейшей составляющей творческого воображения. Несмотря на то, что смерть нельзя предвидеть и предсказать, предчувствие неотвратимого горя характерно для очень тонких и чувствительных натур, которыми и являются даровитые писатели. И Толстой передает свои тревожные предчувствия, создавая особую атмосферу повествования. В главе «Письмо», с которой и начинается цепь трагических событий, автор пишет, что как только отец сказал, что они едут в деревню, то «Что-то защемило у меня в сердце при этом извести, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке» [14, с. 88].

И уже после того, как они приехали в деревню, после того, как вся дорога прошла в тревожном и гнетущем настроении, когда все реакции отца не предвещали ничего хорошего, из детских уст автора вырываются такие слова: «О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение!» [14, с. 93]. Предчувствие теперь воплощаются в реальность, и вот перед нами такое описание комнаты, в которой умирает мать героя: «Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты. .

Глаза татап были открыты, но она ничего не видела... О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страдания!..

Нас увели» [14, с. 94].

Очень достоверное, пронзительное, даже с декадентскими элементами некрореализма описание. Художественный дар Толстого работает в полную меру на описание смерти во всей ее трагической и страшной глубине. При этом, он показывает, какое неоднозначное переживание вызывает смерть; это не только беспросветная скорбь, и убитость горем, но и своеобразный интерес. Смерть предстает как ужас и тайна одновременно. Именно это и влечет к ней, заставляет смотреть смерти в лицо, преодолевая страх и отвращение. Вот как он это описывает: «На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще р аз

взглянуть на нее; преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

Посредине комнаты, на столе, стоял гроб; вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим однообразным голосом читал псалтырь. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-по-малу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего выражение всего лица так строго и холодно? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..» [14, с. 96].

Здесь вспоминаются слова Л. Шестова о том, что Толстому было дано «слышать и понимать загадочный язык смерти». Смерть, с одной стороны, вызывает чувство нарастающего ужаса, а с другой, вызывает доселе неизвестные и весьма неоднозначные нравственные ощущения. Толстой говорит о наслаждении, которое было вызвано невероятной близостью смерти. Это кажется невероятным, но здесь мы видим, как его мысль движется от этики смерти к эстетике и обратно, именно в этическом набирая новые обороты и достигая высокого уровня. Вот он продолжает описывать, что видит и чувствует: «Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живую, веселую, улыбающуюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. ... На время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо приятное и грустное наслаждение» [14, с. 96].

Толстой подвергает этическому анализу и даже нравственному суду свои чувства, в которых оказывается было не чистое горе, но желание показаться огорченным. В этом уже исток того морализма, который будет отличать мировидение Толстого на протяжении всей его жизни и творчества. Он пишет: «Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался

скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна» [14, с. 97].

Перед нами своего рода феноменология горя, основанная, прежде всего, на этической аналитике своих душевных состояний, в которых и скорбь, и наслаждение переплетена в одно какое-то непонятное, но глубинное чувство. Это этико-экзистенциальный анализ, который характерен для таких философов как Ницше, Кьеркегор, Камю, Сартр, Финк, Хайдеггер, Ясперс и др. Это, конечно то, что отличает творчество Достоевского, которого принято также считать одним из предтеч экзистенциализма. Мы видим, что Толстой также вполне причастен к этой традиции, занимая в ней одно из высших мест.

И вот последняя сцена из главы «Горе», которая достраивает картину ужаса, вызванного смертью. Можно сказать, что Толстой описывает здесь предельный ужас, а значит смерть, которая вызывает такую реакцию, становится экстраординарным событием, выходящий за рамки привычного жизненного ритма. «Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу – что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, – возбуждали во мне какую-то досаду.

Какое они имели право говорить и плакать о ней?..

Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться.

Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием» [14, с. 98-99].

Это полноценная философия смерти, достигшая в этом раннем произведении Толстого небывалой высоты и изящества. Здесь представлен своего рода «танатологический канон» русской философии, где одновременно раскрыт и трагизм и антиномизм смерти. Нравственное переживание, философская глубина и эстетическое воплощение создают поистине впечатляющую танатологическую картину. Важна здесь и последующая рефлексия: «Матан уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом... Мне казалось, что после такого несчастья все должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие» [14, с. 99].

Представляется, что здесь корень гиперморализма Толстого. Чувства горечи, досады, обиды, что ничего не изменилось после смерти, после *такой* смерти, как она была описано, полностью захватили и поглотили душу Толстого. Жгучая несправедливость и негодование от человеческой реакции, которая всегда во все времена одна и та же вызывают в писателе огромное возмущение и протест, ставший отличительной чертой всех его мыслей и

оценок. И его анархизм направлен против этого, по сути, нравственного предательства, которое совершают люди по отношению к умершим. Здесь же причина критического отношения Толстого к церкви и духовенству, которые занимаются лишь утешением, не вникая в суть проблематики. И далеко не случайно, что Толстой так искренне и горячо отреагировала на учение Николая Федорова о всеобщем воскрешении, в основе которого лежала та же идея, то же чувство негодования о предательстве по отношению к умершим, которое Толстой испытал и описал в «Детстве».

Также хорошо известно, что Толстого потрясла смерть брата, по поводу которой он скажет в «Исповеди» свои знаменитые слова: «Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает» [16, с. 46]. И это непонимание, надломив могучее древо жизни, стало расти, пока не достигло высшего предела в «арзамасском ужасе». Но пока этого не произошло Толстой занят семейной и литературной жизнью, увлечен крестьянскими школами.

Но вот в 1869 году, в год окончания «Войны и мира», с ним случается нечто, вошедшее в литературу под названием «арзамасский ужас». Это хорошо известное событие описано Толстым в «Записках сумасшедшего». «Записки сумасшедшего» – важнейший текст в творчестве Толстого, который, по словам Л. Шестова, может «считаться ключом к творчеству Толстого» [15, с. 114]. Состояние, которое пережил писатель, трудно поддается описанию и определению; часто его называют в терминах «духовного кризиса». Но более точно все-таки это состояние назвать «экзистенциальным кризисом». Это, прежде всего, вдруг открывшаяся *истина смерти* во всей своей полноте. Как будто слетели все защитные механизмы, и вот ничем неприкрытая смерть ворвалась чистым ужасом в бедную незащищенную жизнь маленького человека, которым себя ощутил этот могучий человек. «А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирающее было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас» [15, с. 327]; «Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно» [15, с. 327-328].

Особенность феномена «арзамасского ужаса» в том, что здесь представлен не только страх смерти, но и страх *потери смысла*, связанный со смертью. Не только финальный ужас встречи со смертью как ничто, небытием, чем-то чудовищно-непостижимым страшит Толстого, но и сама жизнь, еще не закончившаяся, но духовно помертвевшая из-за того, что смерть, которая неотвратимо явится когда-то, уже сейчас отбирает у жизни смысл, ее соки, радость, вкус и цвет, ее благодать. «Я живу, жил, я должен жить, и вдруг

смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дождаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга» [15, с. 330].

В «Исповеди» раскрыта с достаточно полнотой вся глубина ужаса смерти, которую испытал Толстой в своей жизни. Слово «ужас» – одна из главных лексем экзистенциалистского словаря, наиболее частотно в «Исповеди», именно это слово выражает последнюю глубину человеческого потрясения, которую испытывает Толстой, сталкиваясь со смертью. «Ужас тьмы был слишком велик...» [16, с. 53] – пишет Толстой на грани суицидального отчаяния. Бунин также отмечает смертоносное действие ужаса на Толстого: «Это «ужасное» постигало его всю жизнь, и чем дальше, тем все чаще и сильнее, чтобы наконец ужаснуть в некий день уже «до сумасшествия»» [4, с. 116].

«Ужас» у Толстого трансформируется: изначально лексема словаря повседневного языка, обозначающая крайне эмоциональное состояние – отношение негативного плана, превращается в категорию экзистенциальной философии, и шире – экзистенциального мироощущения. Это обостренное чувство Толстого является его главной особенностью. В. Н. Ильин, анализируя личность и творчество писателя, говорит о «натуралистическом ужасе Толстого перед смертью», который проходит «лейтмотивом через все его творчество и через всю его жизнь» [8, с. 63]. Этот «панический ужас смерти» оказал решающее воздействие и на пессимизм, и на анархизм Толстого, в целом на его нигилистическую (опрошенческую) установку.

Глубокая экзистенциальная травма, вызванная смертью, явилась подлинным истоком и анархических идей Толстого и, так парадоксально с ними сочетающимися, панморалистическим усилием обновить и преобразить жизнь и культуру на началах абсолютного добра. «Экзистенциальная дыра», оставившая в сердце незаживающую рану, требовала мощного противодействия, которую Толстой обрел в абсолютной морали. Как отмечает А. А. Горелов: «Основной причиной духовного рождения Толстого следует все же признать экзистенциальный опыт ужаса, который он получил непосредственно перед созданием своей системы взглядов» [5, с. 142]. Но для этого необходимо было подвергнуть радикальной критике существующие институты культуры. В этом исток анархизма Толстого. И в этом он близок к своему роду, религиозному анархизму Н. Ф. Федорова, который также подверг жесточайшей критике существующую, по его словам, «фарисейскую мораль» общества.

Феноменология ужаса, представленная в «Записках сумасшедшего», – отдельная тема. Но стоит сказать, что она во многом опередила тот шквал различных подходов к ужасу, которыми изобилует литература и философия в XX веке. И вот уже в «Исповеди», окидывая взором свои терзания и потрясения, Толстой пишет из глубины мук своего отчаяния: «Жизнь моя остановилась», «Жизнь мне опостылела». Перед ним как будто открылась черная бездна экзистенции, в которую провалились все добрые и надежные

смыслы, которыми он жил до этого. Он пишет: «...чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно» [16, с. 48].

В Толстом происходит наиболее сильное *откровение экзистенции*: «Истина была то, что жизнь есть бессмыслица» [16, с. 49]. За этим откровением проглядывает *откровение человека* – тот новый способ его описания, который появляется лишь в XIX веке и который был неизвестен предшествующей традиции, концентрировавшей свое внимание на вопросах доказательства бессмертия души и бытия Бога. Человек открывается посредством экзистенциального ужаса, и первым это сделали русские писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, чуть раньше Н. В. Гоголь и отчасти К. Н. Леонтьев. Но более всех именно Толстой, поскольку его экзистенциальный ужас достиг необычайно высокой степени интенсивности.

Это откровение экзистенциального ужаса, то есть открытие человека в иной, ранее неведомой ипостаси его бытия, повлияло на дальнейшие этико-философские откровения о человеке, которые были совершены в философской литературе Серебряного века и позже – в эмиграции и в Советской России, например, у Андрея Платонова. Но ближайшее сходство, точнее, продолжение и развитие линии «арзамасского ужаса» обнаруживается у А. П. Чехова, у которого экзистенциальные вопрошания приобретают совершенно отчетливую и ни с чем не сравнимую интонацию.

В рассказе Чехова «Архиерей», который вызвал восторженные оценки Толстого и Бунина, это выявлено с наибольшей полнотой и драматизмом. Если герой Толстого оказывается в ситуации экзистенциальной обнаженности, будучи простым человеком, то у Чехова это уже духовное лицо. В этом рассказе «Архиерей» есть слова, которые, являясь смысловой кульминацией рассказа, в тоже время – чуть ли не квинтэссенция философии человека самого автора: «Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была в и детстве, и в академии, и за границей».

Можно сказать, что здесь у духовного лица, а в его лице вообще у всех людей той эпохи *проснулась экзистенция*. Это и есть подлинное глубинное *открытие человека*: вера есть, а все равно, не хватает чего-то главного. Вера и экзистенция не совпали, разошлись, и остался человек один с ностальгией по детству и с надеждой на будущее. Еще раз отметим, что у Чехова здесь показан не просто человек, которых у него также множество, но архиерей, то есть человек как бы «защищенный» верой от экзистенциального кризиса. Если это просто человек, ощутивший экзистенциальный вакуум, то ему сразу будут рекомендовать религиозную терапию, объясняя, что его смятение, боль и тревога от недостатка или потери веры. А здесь именно лицо, которое уже

обладает верой, вдруг понимает, что «не все было ясно», ощущает пустоту и нехватку «самого важного».

«Архиерей» Чехова, который долго и мучительно вызревал, и вынашивался в течении пятнадцати лет, был опубликован в 1902 году, а в 1909 в год выхода знаменитого сборника «Вехи» была опубликована повесть «Конь бледный» известным российским революционером и очень серьезным писателем экзистенциального плана Борисом Савинковым. Здесь «арзамасский ужас» Толстого, помноженный на неистребимую чеховскую тоску, становится огромным экзистенциальным отчаянием, переходящим в самоубийственное отрицание всего. Русская экзистенция доходит здесь до своего предела и уходит в радикальное самоистребление как закономерный итог тошнотворной бессмыслицы, куда более глубокой и нестерпимой, чем сартровская тошнота.

Смерть и вместе с ней смертоносная тоска бессмысленности, совершенно не осмысленная философски и не преображенная религиозно, стала нравственным и метафизическим вызовом Толстому и в его лице наиболее думающей части русского общества. Оказалось, что в культуре отсутствуют инстанции, которые могли бы удовлетворительно ответить на эти мучительные вопрошания. Философствовать пришлось заново, открывая те истины, которыми шла европейская философия, начиная с Платона, и примешивая к этому свой собственный ярко-трагический окрас, которым была отмечена русская жизнь.

Интересно в этом контексте наблюдение Г. Померанца, который пишет следующее: «Страх бесконечности в «Анне Карениной» и страх смерти в «Записках сумасшедшего» – в сущности, только два поворота одного и того же метафизического страха. Чувства бездны. Все метафизические страхи сливаются в один страх: страх непостижимого» [11, с. 310]. В конечном счете, именно Толстой как никто иной в русской философской культуре выразил со всей полнотой, несомненностью и очевидностью корневое самобытное свойство русской философии, заключающееся в ее *этикоцентризме* («панморализме», по словам В. В. Зеньковского). Эта особенность приобретает такую «формулировку»: *этика contra метафизика* (или *смысл жизни contra тайна жизни*). Чистая метафизика, основанная или на научном, или на натурфилософском или же на философском удивлении не составляет основного направления русской мысли.

Поэтому в русской философии ключевые слова из этического тезауруса: смысл, добро, страдание, а не из метафизического, для которого главным является бытие, тайна, удивление. Вот именно здесь проходит коренная оппозиция русской мысли: смысл/тайна, чью сущность с наибольшей полнотой выразил именно Толстой. И все экзистенциальные откровения и переживания Толстого, в, конечном счете, имеют этический окрас и претворяются в этическое, то есть в жизненно-практическое.

Толстой хотел ответить на эти вопросы, и в этом основа его рационализма. Он не мог отпустить ситуацию, оставить вопрос без ответа, в конце концов, довериться чему-то непонятному, неизъяснимому, неведомому.

Он не мог *надеяться* на смысл жизни, он хотел *знать* смысл жизни. Для него, как и для Федорова не существовало тайны как реальности, пускай и метафизической, но реальности. Смерть и смысл жизни в их практической, то есть этической связанности волновали обоих мыслителей, но не тайна смерти и не тайна смысла жизни.

Хорошее подтверждение корневому панморализму Толстого находим в книге М. Алданова «Загадка Толстого», которую он начинает с известных слов Канта: ««две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением: звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Эта знаменитая формула, выражающая идею совершенного, гармонического человека, может быть разделена, как в теории, так и в жизни: откиньте ее второй член, оставьте одно «звездное небо», она вплотную приблизится к учению язычника Гёте... Напротив, для Толстого-мыслителя существует только «нравственный закон». То «das ewig Eine», которому всю жизнь «удивлялся» Гёте, «звездное небо» Канта – в толстовстве не находят места [1, с. 25-26].

Также оно не находит места и у Федорова, очень близкого по духу Толстому русского философа-моралиста и следовавших за ними многих русских философов, которые внешне находились в идейной оппозиции к Федорову и Толстому, но внутренне духовно были им очень близки.

Итак, корни русского анархизма и нигилизма, а также панморализма и супраморализма в сильнейшем переживании ужаса и неправды смерти. Русская экзистенция рождается в стихии чистой смерти, чистого ужаса смерти, который испытывает уже Гоголь и Достоевский. Затем она приобретает вид философской формулы: *этика contra метафизика*; изначальный импульс ужаса, который затем претворяется у одного в «духовное рождение» (Толстой), у другого – в «общее дело» (Федоров). Но здесь пути русской философии расходятся; толстовцы и федоровцы идут своим путем этики, а Чехов и Платонов выбирают путь метафизики. Чтобы однажды вновь встретиться.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мысль Толстого анархична, но только в том глубинном смысле этого слова, в каком анархичны философия, религия и нравственность, иными словами духовность. Подлинная духовность в том, чтобы давать жизнь духу как творчеству нового, которое всегда встречает на своем пути заостренелые, рутинные и отжившие формы социальной жизни, и здесь истоки революционных практик, которые стремятся политическими мерами исправить социальную несправедливость. К бытийным реформаторам такого уровня принадлежал и Толстой.

Литература

1. Алданов М. Загадка Толстого // Сочинения. В 6 кн. Кн. 6. Ульмская ночь. Литературные статьи. М.: Новости, 1996. С. 9-141.
2. Алданов М. О Толстом // Сочинения. В 6 кн. Кн. 6. Ульмская ночь. Литературные статьи. М.: Новости, 1996. С. 468-478.

3. Бродский А. И. В поисках действенного этоса: Обоснование морали в русской этической мысли XIX века. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. 152 с.
4. Бунин И. А. Освобождение Толстого // Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1988. С. 5-146.
5. Горелов А. А. Экзистенциальные основы «духовного рождения» Л. Н. Толстого // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1. С. 142-152.
6. Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. М.: Мол. гвардия. 1989. 317 с.
7. Зеньковский В. История русской философии. М.: Академический проект, Раритет, 2001. 880 с.
8. Ильин В. Н. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого и его место в истории философии XIX века. СПб.: РХГИ, 2000. 480 с.
9. Котельников В. А. Эстетика и критика Константина Леонтьева // Полное собрание сочинений и писем в 12 т. Т. 9 / К. Н. Леонтьев. СПб.: Владимир Даль, 2014. С. 497-573.
10. Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. М.: Канон, 1996. 496 с.
11. Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. СПб.; М.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 416 с.
12. Розанов В. В. Л. Н. Толстой и Русская Церковь // Розанов В. В.: [сб. ст. в 2 т.]. Т. 1. Религия и культура. М.: Правда, 1990. С. 355-372.
13. Свенцицкий В. Положительное значение Льва Толстого // Толстой. Новый век. Журнал размышлений. 2005. № 1. С. 21-37.
14. Толстой Л. Н. Детство // Собр. соч. В 22 т. Т. 1 / Л. Н. Толстой. М.: Худож. лит., 1978. С. 11-111.
15. Толстой Л. Н. Записки сумасшедшего // Собр. соч. в 14 т. Т. 10. М.: Худ. лит., 1952. С. 337-345.
16. Толстой Л. Н. Исповедь // Не могу молчать. М.: Сов. Россия, 1985. С. 39-97.
17. Уотсон П. Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло? М.: Эксмо, 2017. 784 с.
18. Шестов Л. На весах Иова. М.: АСТ ; Харьков: Фолио, 2001. 464 с.

References

1. Aldanov M. Zagadka Tolstogo [Mystery of Tolstoy] // Works. In 6 books. Book 6. Ul'mskaya noch'. Literaturnyye stat'i [Ulm night. Literary articles]. Moscow: Novosti, 1996. P. 9-141.
2. Aldanov M. O Tolstom [About Tolstoy] // Works. In 6 books. Book 6. Ul'mskaya noch'. Literaturnyye stat'i [Ulm night. Literary articles]. Moscow: Novosti, 1996. P. 468-478.
3. Brodsky A. I. V poiskakh deystvennogo etosa: Obosnovaniye morali v russkoy eticheskoy mysli XIX veka [In search of an effective ethos: Justification of morals in the Russian ethical thought in the nineteenth century]. Saint-Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University Press, 1999. 152 p.
4. Bunin I. A. Osvobozhdeniye Tolstogo [Liberation of Tolstoy] // Collected Works. In 6 vols. Vol. 6. Moscow: Khudozh. lit., 1988. P. 5-146.

5. Gorelov A. A. Ekzistentsial'nyye osnovy «dukhovnogo rozhdeniya» L.N. Tolstogo [Existential foundations of the "spiritual birth" of Leo Tolstoy] // Znaniye. Ponimaniye. Umeniye [Knowledge. Understanding. Skill]. 2014. No. 1. P. 142-152.
6. Davydov Yu. N. Etika lyubvi i metafizika svoeyevoliya: Problemy npravstvennoy filosofii.71/5000N. The Ethics of Love and the Metaphysics of Willfulness: Problems of Moral Philosophy. Issues of Moral Philosophy]. Moscow: Mol. gvardiya. 1989. 317 p.
7. Zenkovskiy V. Istoriya russkoy filosofii [History of Russian philosophy]. Moscow: Akademicheskiiy proyekt, Raritet, 2001. 880 p.
8. Il'in V. N. Mirosozertsaniye grafa L'va Nikolayevicha Tolstogo i yego mesto v istorii filosofii XIX veka [Worldview of Count Leo Tolstoy and his place in the history of philosophy of the 19th century]. Saint-Petersburg: RKhGI, 2000. 480 p.
9. Kotel'nikov V. A. Estetika i kritika Konstantina Leont'yeva [Aesthetics and Criticism by Konstantin Leontiev] // Complete works and letters in 12 vols. Vol. 9 / K. N. Leontiev. Saint-Petersburg: Vladimir Dal', 2014. P. 497-573.
10. Levitskiy S.A. Ocherki po istorii russkoy filosofii [Essays on the history of Russian philosophy]. Moscow: Kanon, 1996. 496 p.
11. Pomerants G. Otkrytost' bezdne. Vstrechi s Dostoyevskim [Openness to the abyss. Meetings with Dostoevsky]. Saint-Petersburg; Moscow: Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2015. 416 p.
12. Rozanov V. V. L. N. Tolstoy i Russkaya Tserkov' [Leo Tolstoy and the Russian Church] // Rozanov V. V.: [collection of articles in 2 volumes]. Vol. 1. Religiya i kul'tura [Religion and culture]. Moscow: Pravda, 1990. P. 355-372.
13. Svetsitskiy V. Polozhitel'noye znachenie L'va Tolstogo [Positive value of Leo Tolstoy] // Tolstoy. Novyy vek. Zhurnal razmyshleniy [Tolstoy. New century. Journal of reflections]. 2005. No. 1. P. 21-37.
14. Tolstoy L. N. Detstvo [Childhood] // Coll. Op. In 22 vols. Vol. 1 / L. N. Tolstoy. Moscow: Khudozh. lit, 1978. P. 11-111.
15. Tolstoy L.N. Zapiski sumasshedshego [Diary of a Madman] // Coll. op. in 14 vols. Vol. 10. Moscow: Khud. lit., 1952. P. 337-345.
16. Tolstoy L. N. Ispoved' [Confession] // Ne mogu molchat' [I cannot be silent]. Moscow: Sov. Russia, 1985. P. 39-97.
17. Watson P. Epokha pustoty. Kak lyudi nachali zhit' bez Boga, chem zamenili religiyu i chto iz vsego etogo vyshlo?[The Age of Nothing: How We Have Sought to Live Since the Death of God] Moscow: Eksmo, 2017. 784 p.
18. Shestov L. Na vesakh Iova [On the scales of Job]. Moscow: AST; Kharkiv: Folio, 2001. 464 p.

*Статья поступила в редакцию 12.08.2018
Статья допущена к публикации 30.09.2018*

*The article was received by the editorial staff 12.08.2018
The article is approved for publication 30.09.2018*